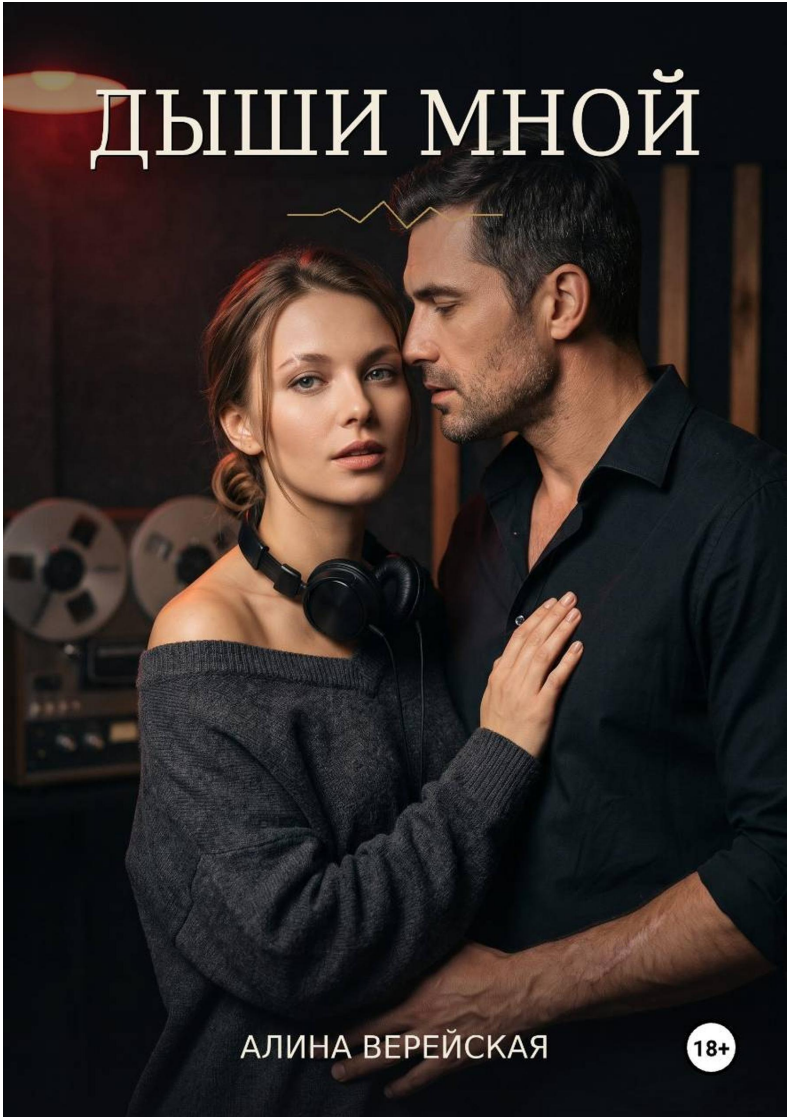

ДЫШИ МНОЙ
АЛИНА ВЕРЕЙСКАЯ
18+

Алина Верейская
Дыши мной

https://litres.ru/74775698
SelfPub; 2026

Аннотация

Двести четырнадцать тысяч женщин знают её голос. Её имя — нет.

Ночью Таисия Ремезова — Мира Ноктюрн, автор откровенных аудиоисторий. Она умеет озвучить любое желание, кроме собственного. Днём она спасает архив отца и молчит. Демид Заславский, человек с почти потерянным слухом и абсолютной властью над чужим звуком, ищет Миру. Но находит Таисию — и слишком быстро слышит в ней то, чего она годами не позволяла себе хотеть.

Один долг. Семьдесят восемь дней. И близость, которая начинается с вопроса «Можно?».

Её голос сводит с ума двести четырнадцать тысяч женщин. Только он слышит, как она молчит.

Алина Верейская
Дыши мной

Алина Верейская
ДЫШИ

МНОЙ
РОМАН
Независимое издание

2026

© Алина Верейская, 2026
Все права защищены.
Все персонажи и события романа вымышлены. Совпадения с реальными людьми и событиями случайны.
Возрастная маркировка: 18+. Роман содержит откровенные сцены между совершеннолетними героями.

Содержание

Глава 1. Двести четырнадцать тысяч женщин
Глава 2. Голос, который я искал два года
Глава 3. Правило одного прикосновения
Глава 4. Четыреста двенадцатая коробка

Глава 5. То, что слышно только в темноте
Глава 6. Семейный формат
Глава 7. Выборг. Дождь. Одна ночь
Глава 8. Стеклянный голос
Глава 9. Своя сцена
Глава 10. Сорок восемь дней
Глава 11. Вести
Глава 12. Стена
Глава 13. Право на желание
Глава 14. Человек, который решает, что вам слышно
Глава 15. Я — Мира Ноктюрн
Глава 16. Двести четырнадцать тысяч
Глава 17. Выход из сделки
Глава 18. Дыхание
Глава 19. Девятнадцатое апреля
Глава 20. Голос без псевдонима

ГЛАВА 1

Двести четырнадцать тысяч женщин

Красная лампочка над дверью загорелась, и я перестала быть Таисией Ремезовой.

— Подойди ко мне, — сказала я.

Голос был не мой. Ниже на полтона, медленнее, с хрипотцой на первом звуке. Так говорит мужчина, который весь вечер держался и только что перестал.

В кабине было 3,1 × 2,4 м. Серый войлок на стенах, дере-

вянные рейки поверх него — их прибивал мой отец своими руками, и я до сих пор знаю, где он промахнулся молотком. Микрофон на журавле. Стул. Пюпитр. Лист с текстом.

И я. В отцовском свитере, который велик мне на два размера.

— Я сказал: подойди, — произнесла я тем же голосом.

Пауза. Я держала её ровно столько, сколько нужно, — тысяча двести миллисекунд. Меньше — суета. Больше — театр.

Потом перешла на свой голос. Женский. Тот, ради которого, по словам двухсот четырнадцати тысяч женщин, стоит жить вечером во вторник.

— «Я подошла. Он не взял меня за руку. Он просто положил ладонь мне на шею — сбоку, туда, где под кожей ходит пульс, и ждал, пока я сама прижмусь».

Я читала и слышала себя со стороны. Это профессиональное: наушники на ушах, собственный голос в них, и никакого стыда, потому что стыд — тоже звук, и микрофон его ловит.

— «Он сказал: “Дыши”. И я дышала. Ему в шею, в воротник рубашки, в ту точку, где кончается ткань и начинается кожа. Он держал меня за затылок и не торопился. Никто никогда так не торопился со мной — медленно, как будто у нас впереди целая ночь, а не…»

Я оборвала фразу. Не по тексту — по чувству. Так лучше. Текст я писала сама, поэтому имела право его портить.

Катушечник за спиной щёлкнул, перематывая хвост.

Пыль в луче лампы висела ровно, как в музее.

Я сделала глоток воды из банки, которая стояла на полу у ножки стула, — тёплая, из-под крана, третья за ночь. Во рту пересохло не от жажды. От того, что я четвёртый час подряд говорила голосом мужчины, которого никогда не встречала, и описывала руки, которых на мне не было четырнадцать месяцев.

— «Он расстегнул верхнюю пуговицу. Потом вторую. Я не помогала — мне хотелось посмотреть, как у него дрожат пальцы. У такого мужчины. С такими руками. И они дрожали».

Лампочка над дверью мигнула: Юля в аппаратной нажала кнопку, попросила дубль.

Я сняла наушник с правого уха — привычка, оставшаяся от отца: одно ухо в работе, одно в комнате. И начала заново.

— «Он расстегнул верхнюю пуговицу…»

В этот раз вышло суше. Я добавила воздуха в середину фразы, чуть убрала громкость на слове «дрогают» — нет, «дрожали», я путаю, — и Юля снова нажала кнопку.

— Ты чего? — спросила я в микрофон.

— Ты сказала «дрогают».

— Я знаю.

— Третий дубль, Тая. У тебя голос сел.

— У меня голос не сел. У меня голос никогда не садится.

— Сел. На «дрожали». Я вижу по волне.

Она видела по волне. Я видела по горлу: оно стянуло, как

будто я глотнула холодной воды слишком быстро.

— Перерыв пять минут, — сказала Юля.

Я вышла из кабины. Одиннадцать шагов от двери до двери — я считала их с девяти лет, и за семнадцать лет цифра не изменилась ни разу. Аппаратная пахла пылью, канифолью и горячим пластиком: усилитель нагрелся за ночь, и этот запах для меня всегда значил «дом» сильнее, чем любой другой.

На входной двери, снаружи, висела отцовская табличка. Латунная, с гравировкой, которую он заказал в девяносто шестом и ни разу не поменял: «Ведётся запись. Говорите правду».

Я читала её каждый день четырнадцать лет и только сегодня поняла, что это не инструкция для гостей.

Дыхание не врёт.

Это отец. Это он говорил мне, когда я сидела под пультом, скрестив ноги, и смотрела снизу на его локти.

Слова можно выучить, паузы — рассчитать, тембр — опустить. Я восемь лет зарабатываю этим на жизнь.

Дыхание не врёт никогда. Лжец набирает воздух на двести миллисекунд раньше, испуганный человек замирает на выдохе, а тот, кому хорошо, дышит животом.

Отец научил меня слышать это в четыре года. Не музыке — чужому дыханию.

И я выучила. Настолько, что теперь умею четыреста способов довести мужчину до дрожи — голосом.

Я знаю, где поставить придыхание, чтобы у человека в на-

ушниках сжалось горло. Я знаю, что слово «шея» надо произносить на выдохе и чуть короче, чем пишется. Я знаю, что после слова «медленно» нужна пауза в семьсот миллисекунд, и тогда у слушательницы внутри что-то опустится, как в лифте.

Четыреста способов.

Ни одного — своей кожей.

— Тая.

Юля не подняла головы от пульта. Три серьги в одном ухе качнулись, когда она потянулась к фейдеру.

— Что.

— Ты опять стояла и смотрела в стену.

— Я считала.

— Шаги?

— Миллисекунды.

Она усмехнулась и наконец повернулась. Лицо у Юли было такое, какое бывает у человека, который восемь часов сводил чужой оргазм и ни разу не удивился.

— Знаешь, что меня убивает? — спросила она.

— Скажи.

— Мира Ноктюрн — самый желанный мужчина страны. У него двести четырнадцать тысяч подписчиц, у него сорок седьмой эпизод, и женщины в комментариях пишут, что вышли замуж назло его голосу. — Юля ткнула пальцем в монитор, где ползла моя звуковая волна. — А автор этого мужчины сидит передо мной в свитере своего покойного отца и

третий час пьёт тёплую воду из банки.

— Вода нормальная.

— Вода комнатной температуры из-под крана. Это не вода, это отчаяние.

Я села на подлокотник её кресла.

— Пиши дальше.

— Я не про это.

— Я поняла, про что ты.

Она помолчала. Юля умела молчать по-разному: когда сводит — это рабочее молчание, когда беспокоится — совсем другое, с дыханием через нос.

— Сколько ты последний раз… — начала она.

— Не начинай.

— Я даже не договорила.

— Ты договоришь, и станет хуже.

— Тая.

— Юля.

Мы посмотрели друг на друга, и она первая отвела глаза — потому что у меня в такие моменты становится лицо отца. Мне об этом говорили трое, включая мать.

— Пять минут прошло, — сказала Юля. — Иди. Сорок седьмой не запишется сам.

Я встала и пошла обратно в кабину. Одиннадцать шагов.

Уже у двери обернулась.

— Если я завтра не выйду на связь к одиннадцати, позвони мне.

— А если ты не ответишь?

— Значит, заснула в кабине. Приходи и выключи усилитель.

— Ты останешься здесь?

— Пока не закончу сорок седьмой.

Юля долго смотрела на меня. Потом сняла наушники, положила их на пульт очень аккуратно, как кладут дорогую вещь, и сказала:

— Только не превращай ночь в аврал.

— Это не аврал. Это работа.

— У тебя всегда так. Пока не упадёшь.

В кабине лампочка горела ровно. Я села, надела наушники, придвинула лист.

Сорок седьмой эпизод заканчивался сценой, которую я написала в три часа ночи в июле, через две недели после того, как отец умер в этой самой аппаратной, — на полу, между пультом и стойкой с архивом, с наушником в правом ухе.

Мне тогда казалось, что если я напишу достаточно откровенно, достаточно точно, достаточно без стыда — то почувствую хоть что-нибудь.

Я читала:

— «Он вошёл в меня медленно, и я поняла, что всё, что я про это знала, я знала из чужих историй. Он не спрашивал, можно ли быстрее. Он смотрел мне в лицо и ждал, пока я сама скажу. И я сказала. Я сказала то, чего не говорила никогда: “Не останавливайся”. И он не остановился».

Мой голос в наушниках дрогнул на слове «никогда».

Не по расчёту. Не по тексту.

Я сняла наушники, выключила лампочку и посидела в темноте, слушая, как остывает усилитель за стеной.

Письмо пришло в семь двенадцать утра.

Я сидела на подоконнике своей комнаты на Рубинштейна и смотрела в двор-колодец. Окно выходило на стену соседнего дома, и между нашими подоконниками было ровно столько, чтобы туда падал звук: кто-то на четвёртом этаже жарил, кто-то на втором смотрел телевизор громче, чем следовало в семь утра.

Катушечник «Орбита» стоял у окна с девяносто восьмого года. Отец купил его, когда мне был год. Пассик на нём меняли четыре раза, головку — дважды, а корпус так и остался родной, с вмятиной на правом углу: я уронила его в шесть лет и три дня не говорила от страха.

Телефон коротко вибрировал.

«ООО “Ветров Капитал”. Уведомление о переходе права требования по договору займа № 118/17-С от 12.05.2017. Сумма основного долга: 4 100 000 (четыре миллиона сто тысяч) рублей. Срок исполнения: 90 календарных дней с 01.09. Задолженность подлежит погашению в полном объёме. В случае неисполнения залоговое имущество (помещение студии звукозаписи “Резонанс”, оборудование, архив фонограмм — 11 214 единиц хранения) реализуется с публичных торгов».

Я прочитала три раза.

Не потому что не поняла. А потому что надеялась, что на третий раз цифра изменится.

Архив фонограмм — одиннадцать тысяч двести четырнадцать единиц.

Сорок лет. Мой отец выходил на улицу с микрофоном и записывал город: дождь по жестяным подоконникам, трамваи на Среднем, скрип разводных мостов в четыре утра, голоса во дворах-колодцах, дыхание спящих людей в ночных электричках. Он делал это не для денег. Он говорил: «Город не помнит, как он звучал. Пусть хоть кто-то запомнит».

Теперь это называлось «залоговое имущество».

Я положила телефон экраном вниз на подоконник и посчитала.

Гонорар за один эпизод «Дыши мной» — сто восемьдесят тысяч рублей. За двадцать три месяца я написала и озвучила сорок семь эпизодов. По моим расчётам, на счёте студии должно было лежать около восьми миллионов.

На счёте лежало двести сорок тысяч и мелочь.

Платформа «Ноктюрн» второй год удерживала выплаты автору по одной причине: автор не верифицирован. Контракт я подписала как Мира Ноктюрн, по своей воле, с условием полной анонимности — потому что в двадцать четыре года боялась, что меня найдут. Нашли. Два года искали и не нашли, но деньги держали честно, как в банке: до предъявления паспорта и живой подписи.

Круг замкнулся так красиво, что мне захотелось смеяться.

Чтобы спасти студию, мне нужны деньги Миры Ноктюрн.

Чтобы получить деньги Миры Ноктюрн, мне нужно показать лицо Таисии Ремезовой.

Чтобы показать лицо, мне нужно перестать быть стеной.

А стеной я была ровно четырнадцать месяцев — с того вечера, когда Кирилл стоял в коридоре этой самой коммуналки с сумкой в руке и говорил:

— С тобой как со стеной, Тая. Ты ничего не чувствуешь.

Он сказал это тихо. Он вообще всегда говорил тихо, когда был уверен в своей правоте. Через три недели мой отец умер в аппаратной. Кирилл не пришёл на похороны — написал, что не сможет, потому что у него съёмка.

Я ему поверила. Не про съёмку.

Про стену.

Он пришёл в одиннадцать.

Я услышала его на лестнице за четыре секунды до звонка: шаг тяжёлый на правую ногу, куртка шуршит, дыхание ровное — так дышит человек, который отрепетировал разговор.

Я открыла.

— Привет, — сказал Кирилл и поднял два стаканчика. — Твой, как обычно. Без сахара.

Он протянул кофе, и я взяла, потому что не взять было бы спектаклем, а спектаклей на сегодня хватило.

— Ты не звонил, — сказала я.

— Я писал.

— Я не отвечала.

— Значит, я писал не то. — Он улыбнулся той улыбкой, за которую его любили на совещаниях. — Можно?

Он кивнул внутрь. Я посторонилась.

Кирилл Дорн, двадцать девять лет, ведущий продюсер холдинга «Ветров Капитал», в пальто, которое стоило как год аренды моей комнаты. Он прошёл в комнату и поставил свой стакан на подоконник — рядом с «Орбитой», в сантиметре от неё.

Я молча переставила стакан на пол.

— Осторожно, — сказала я.

— Это хлам, Тая.

— Это магнитофон.

— Это магнитофон, который занимает место, где мог бы стоять нормальный стол.

Он произнёс это ровно, доброжелательно, как произносят очевидные вещи. Четырнадцать месяцев назад я бы ответила. Сейчас я просто села на подоконник и посмотрела на него.

— У тебя письмо пришло, — сказал Кирилл.

— Откуда ты знаешь?

— Я его принёс, — он улыбнулся. — Ну, почти. Я знаю, что оно пришло.

— Ты работаешь в холдинге.

— Я работаю в холдинге, — согласился он. — И я пришёл не от холдинга.

Пауза. Я слушала его дыхание.

Вот оно: на слове «холдинг» он набрал воздух на двести миллисекунд раньше, чем нужно.

Он врал. Или, что хуже, он сам не знал, где кончается «не от холдинга» и начинается «от холдинга».

— Родион Аркадьевич готов рассмотреть вариант, — продолжил Кирилл. — Реструктуризация. Рассрочка на тридцать шесть месяцев. Процент ниже рыночного.

— Условие.

— Условие, — он не стал делать вид, что условия нет, и я оценила это. — Архив.

— Не поняла.

— Архив отца. Одиннадцать тысяч единиц. — Он сделал глоток. — Холдинг готов выкупить его отдельным договором, снять с залога и передать в фонд. Он останется в городе, останется в доступе, будет оцифрован. Ты просто перестанешь быть его хранителем.

— Я его дочь.

— Поэтому тебе и предложат лучшую цену.

Я смотрела на его руки. У Кирилла были ухоженные руки человека, который не носит ничего тяжелее телефона.

— Ты предлагаешь мне продать память отца людям, которые хотят продать землю под ней, — сказала я.

— Я предлагаю тебе спасти студию.

— Студию нельзя спасти без архива.

— Можно, Тая. Просто будет другая студия.

Вот это и была его суперспособность. Он никогда не хамил и не давил. Он заботился — и забота у него получалась в форме договора.

— Я правильно понимаю, — сказала я медленно, — что ты пришёл в дом человека, которого бросил четырнадцать месяцев назад, чтобы предложить ей продать имущество её мертвого отца.

— Ты всё неправильно поняла.

— Я процитировала.

— Ты процитировала так, что звучит плохо.

— Значит, звучит правильно.

Он поставил стакан. Не на пол — на подоконник, и в этот раз рядом с «Орбитой», вплотную.

— Я не хочу, чтобы ты потеряла студию, — сказал Кирилл.

— Ты хочешь, чтобы я потеряла архив.

— Это разные вещи.

— Это одна и та же вещь, только ты выбрал, какую половину не называть.

Он посмотрел на меня долго. В его дыхании снова появилась та же задержка — двести миллисекунд раньше нужного.

— Ты изменилась, — сказал он наконец.

— Я молчала четырнадцать месяцев.

— Ты всегда молчала.

— Нет, — ответила я. — Я всегда молчала не так.

Он не понял. Я и не рассчитывала.

Когда дверь за ним закрылась, я подошла к подоконнику, взяла его стакан и вылила кофе в раковину. Потом вымыла стакан и поставила его в шкаф — к своим. Не выбрасывать же.

И только потом села на пол между «Орбитой» и стеной и позволила себе дрожать.

Дрожала я профессионально: ровно, без всхлипов, потому что всхлип — это тоже звук, а я не привыкла производить звук, который никто не заказывал.

Продышавшись, я открыла письма читательниц. Каждый вторник я читала их все, хотя отвечать запрещал контракт.

В понедельник таких писем пришло тысяча двести шестьдесят три.

«Мне пятьдесят два. Двадцать лет я не говорила мужу, чего хочу, потому что думала, что хотеть — это стыдно. Вчера сказала. Он плакал. Я не знаю, кто вы, но спасибо, что разрешили».

«После родов я год не давала себя тронуть. Мне казалось, моё тело больше не моё. Я слушала вас в наушниках, пока ребёнок спал, и впервые за год поняла, что я живая».

«Я развелась в марте. Мне было страшно не от одиночества, а от того, что я больше никому не нужна. Ваш сорок третий эпизод я слушаю, когда еду в метро на работу. Я доезжаю до конечной и еду обратно. Так я хоть что-то чувствую».

Двести четырнадцать тысяч женщин слушали мужчину, которого не существует. Ни одна не знала, что он — женщина на полу коммуналки, дрожащая после предложения продать память.

Последнее письмо в тот день было короткое, от подписчицы с ником «В.Т.»:

«Мне пятьдесят восемь. У меня есть тело, и оно не вышло в тираж. Пишите дальше. Нас больше, чем вам кажется».

Я перечитала его дважды и не поняла, откуда эта женщина знает то, чего не знаю я.

Второе письмо пришло в шестнадцать тридцать.

Я была в студии, перекладывала коробки в архиве — с нижней полки на верхнюю, потому что снизу тянуло сыростью, а сырость для плёнки хуже огня. Руки были в пыли по локоть.

Телефон вибрировал в кармане свитера.

«Медиагруппа “Ноктюрн”. Уважаемая М. Ноктюрн! Совет директоров настаивает на личной встрече с креативным директором платформы для урегулирования вопроса верификации автора. Встреча предлагается 15 сентября, 10:00, офис по адресу: наб. Обводного канала… Повестка: подписание соглашения об эксклюзиве и определение публичного лица проекта “Дыши мной”. Обращаем внимание: в случае отсутствия верифицированного автора до конца месяца совет директоров рассматривает вопрос о продаже платформы стратегическому инвестору».

Я прочитала и посмотрела на слово «стратегическому».

У меня в архиве было одиннадцать тысяч двести четырнадцать записей, и я умела определять по дыханию, когда человек врёт.

Но я не умела определять, кто такой стратегический инвестор, пока он не приходил ко мне в одиннадцать утра с двумя стаканчиками кофе.

Я написала одно слово:

«Приду»

И тут же — не в телефоне, а в комнате — щёлкнуло.

Это был звук, который я знала лучше собственного пульса: в архиве, на нижней полке, упал на бок картонный короб.

Я спустилась по лестнице в хранилище.

Коробка лежала на боку, и из неё наполовину выехала бобина. На торце — отцовский почерк, синий маркер по картону:

«№ 412. 19.04.2019. Студия. Оценка».

Я подняла её и отнесла в аппаратную. Поставила на катушечник, заправила плёнку, включила подогрев головки — так делал отец, чтобы не повредить старый слой.

Нажала «воспроизведение».

Сначала — шум комнаты. Тот самый шум, который есть только в этом помещении: гул вентиляции, треск лампы, скрип стула. Я узнала его так, как узнают голос матери.

Потом отец сказал:

— Пишу. Если вы против — скажите сейчас.

Мужской голос, незнакомый, лет пятидесяти:

— Пишите, Аркадий Иванович, чего уж там.

И второй голос.

Молодой. Двадцать четыре, может, двадцать пять лет. Говорит быстро, чуть в сторону от микрофона, как человек, который привык быть в комнате, но не привык быть на плёнке:

— Пишите. Мне скрывать нечего.

Голос показался мне знакомым.

Не целиком. Только быстрым выдохом перед «нечего» и привычкой скрадывать «р». Похожее я слышала сегодня, но плёнка делала тембр моложе и суше. Назвать имя я не решилась: после бессонной ночи память легко подставляет знакомые голоса.

Пальцы сами легли на регулятор громкости, и я подняла её до предела. Шум комнаты стал физическим: он давил на перепонки, треск лампы резал, но я не убавила.

— Аркадий Иванович, вы же понимаете, что это формальность, — сказал незнакомый голос. — Оценка для банка. Никто вас не выгоняет.

— Я понимаю слово «формальность» лучше вас, — ответил отец. — Я записываю формальности с тысяча девятьсот восемьдесят четвёртого года.

— Тогда давайте быстро. Помещение, оборудование, архив. Что вы считаете справедливым?

Пауза. Отец дышал через нос — так он дышал, когда считал.

— Реальная стоимость — 4 100 000 #, — сказал он. — Помещение, оборудование и работа. Это не цифра для торга.

— В отчёт пойдёт 1 200 000 #, — ответил незнакомец без паузы. — Банку нужна ликвидная оценка.

— Вы занижаете почти вчетверо.

— Я предлагаю цифру, которую банк примет.

— И вы подпишете?

— Подпишу, — сказал отец после паузы. — Мне не восемьдесят лет, и мне некуда переезжать. Только вы одно учтите.

— Что именно?

— Я пишу.

И тогда, поверх обоих голосов, отец произнёс моё имя.

Не «дочь». Не «Тая».

Он сказал: «Таисия» — так, как говорят о человеке, который должен что-то унаследовать.

Я потянулась к кнопке стоп.

Катушка щёлкнула и остановилась.

В аппаратной стало тихо, и в этой тишине я услышала собственное дыхание — через нос, короткими рывками, как дышит человек, который боится.

Я посмотрела на календарь, который висел над пультом с прошлого года и с которого я так и не сняла июльский лист.

Вторник. Двенадцатое сентября.

С первого сентября прошло двенадцать дней. До торгов оставалось семьдесят восемь.

У меня было семьдесят восемь дней, четыре миллиона сто тысяч долга, одиннадцать тысяч двести четырнадцать коробок с чужими голосами, письмо от людей, которые хотели увидеть моё лицо, и плёнка четырёхлетней давности. На ней молодой мужчина со смутно знакомым голосом согласился занизить цену студии моего отца.

Я нажала кнопку «перемотка назад» и прослушала всё заново.

Потом ещё раз.

На третьем круге я услышала то, чего не заметила сначала: в конце записи, когда отец уже выключал микрофон, в комнате был кто-то третий. Дыхание. Женское. Оно держалось ровно и не мешало разговору — так дышит человек, который приучен сидеть в углу и не отсвечивать.

Я вытащила катушку, положила её в коробку и написала на торце синим маркером, отцовским почерком, который у меня получился лучше, чем у меня самой:

«Не отдавать».

Потом пошла в кабину, села на стул, придвинула лист с сорок седьмым эпизодом и включила красную лампочку.

Спать я не собиралась.

— «Он вошёл в меня медленно», — сказала я в микрофон голосом, который покупали двести четырнадцать тысяч женщин.

И впервые за восемь лет мне было всё равно, насколько хорошо это звучит.

ГЛАВА 2

Голос, который я искал два года

Я проснулась в шесть десять оттого, что за стеной кто-то дышал неправильно.

Это профессия. В коммуналке на шесть комнат я различаю соседей по дыханию лучше, чем по лицам. Соседка из третьей обычно дышит ровно, как метроном. Сегодня она держала выдох — так дышит человек, который старательно притворяется спящим.

Я лежала и слушала её ещё минут сорок, пока не поняла, что сама не сплю с пяти.

В половине седьмого я пошла на кухню. Кухня у нас длинная, на шесть комнат, с двумя окнами и столом, который отец называл «переговорным»: за ним решали, кто моет полы, кто вызывает сантехника и кто имеет право ставить кастрюлю на вторую конфорку. Сегодня за ним не решали ничего. На столе лежала бобина, завёрнутая в мой старый шарф.

Чайник щёлкнул при закипании на двести миллисекунд позже, чем нужно. Я знала эту задержку с детства и всё равно вздрогнула. Кружка с отколотым краем — скол внутри, и если пить с правильного поворота, губа не попадает на острое. Я пила с правильного поворота восемнадцать лет.

Коробка № 412, отцовский почерк синим маркером: «19.04.2019. Студия. Оценка». Моя приписка поверх, тем же маркером, сделанная вечером: «Не отдавать».

Я принесла её из студии, потому что в студии стены умеют хранить, а моя комната — нет. И потому что вечером двенадцатого сентября я услышала на этой плёнке третье дыхание. Женское. Записи было четыре года.

Я включила переносной магнитофон — он резал низы, но мне нужно было не качество. Настоящая «Орбита» стояла у окна моей комнаты с девяносто восьмого года, и идти к ней утром я была не готова.

Здесь, на кухне, в присутствии соседки, которая притворялась спящей, я слушала, как отец говорит с двумя мужчинами.

«Пишите, Аркадий Иванович, чего уж там». Незнакомый, лет пятидесяти, слегка задыхается на последнем слоге, как человек с лишним весом или нездоровым сердцем.

«Пишите. Мне скрывать нечего». Молодой, двадцать четыре или двадцать пять, говорит быстро, чуть в сторону от микрофона, как человек, который привык быть в комнате, но не привык быть на плёнке.

Я прокрутила этот кусок одиннадцать раз. На восьмом подняла громкость до предела, и динамик захрипел. На одиннадцатом подставила вплотную свой старый студийный наушник — второй контур усиления, приём, которому отец научил меня в двенадцать лет.

Я разобрала слова. Не разобрала человека. У молодого голоса была особенность: он скрадывал звук «р», как люди, которые в детстве много молчали и привыкли экономить на се-

бе. Я знала десятки таких голосов за восемь лет работы со звуком в городе, где половина жителей говорит именно так — экономя. И не знала ни одного достаточно хорошо, чтобы назвать имя.

Запись длилась двадцать восемь минут. Женщина вошла на двадцать пятой и молчала оставшиеся три.

Я выключила магнитофон. За стеной соседка наконец выдохнула — долго, со всхлипом, который тут же подавила. Я подумала, что в этом доме все дышат неправильно, включая меня.

Было 15 сентября 2023 года. До встречи оставалось три с половиной часа. У меня было семьдесят пять дней.

В девять сорок я стояла перед зеркалом в коридоре и смотрела на человека, которого не узнавала. Чёрные брюки, мамина белая рубашка на размер больше — лишний объём скрадывал фигуру. Волосы убраны низко и туго, ни одной выбившейся пряди; прядь слева, которая обычно живёт своей жизнью, была заколота и от этого тянула кожу. Никаких серёг, никаких колец. Сверху серый пиджак из того отделения шкафа, где отец держал костюм для похорон и для суда.

Я была похожа на юриста из банка. На человека, который пришёл говорить о цифрах, а не о звуке. В этом и состоял план.

«Медиагруппа “Ноктюрн”» пригласила «представителя студии “Резонанс”». Не автора. Не Миру Ноктюрн. Представителя. Я собиралась им стать.

Юля ждала у метро в девять пятьдесят пять с двумя стаканами кофе. Один был мой — без сахара, горячий, настоящий, не из банки.

— Ты выглядишь как человек, который идёт продавать мать.

— Как человек, который идёт продавать архив отца.

— Хуже.

Она сунула мне кофе и пошла рядом. Мы шли вдоль Обводного, и я слушала город: трамвай скрипел на повороте, шины шуршали по мокрому асфальту, за спиной гудела вентиляция. Отец знал этот звук лучше всех. Теперь одиннадцать тысяч двести четырнадцать коробок с его городом ждали публичных торгов.

— Ты дрожишь, — сказала Юля.

— Это ветер.

— У тебя стакан дрожит.

Она остановилась и повернулась ко мне. Три серьги в левом ухе качнулись и коротко звякнули — я услышала этот звон и отметила, что он на полтона выше, чем вчера. Она поменяла одну серьгу.

— Если они скажут тебе сделать то, чего ты не хочешь, ты скажешь мне. Не им. Мне. И мы уйдём. Я не буду спрашивать ни про долг, ни про архив. Я просто уйду вместе с тобой.

Я смотрела на неё и понимала, что она говорит всерьёз и что это единственное за утро, что звучало как правда.

— Я скажу.

— Громко. Ты умеешь говорить тихо лучше всех, кого я знаю. Это твоя профессия и твоя беда.

Мы дошли до стеклянного бизнес-центра на набережной. Юля осталась внизу, у кофейни, ждать и считать минуты. Я поднялась на четвёртый этаж.

Переговорная была белая. Не кремовая, не тёплая — именно белая: стены, стол, жалюзи, стеклянная перегородка. Ковролин глушил шаги так хорошо, что я перестала слышать собственную походку, и это оказалось неприятно: как будто у меня забрали один канал и оставили моно.

Их было трое. Эдуард Львович, лет шестидесяти, в очках, с папкой. Вадим Сергеевич, около сорока, с телефоном экраном вниз и привычкой смотреть на часы чаще, чем на людей. Третий сидел спиной к окну.

Я услышала его раньше, чем увидела. Он дышал через нос, медленно, на четыре счёта, и не сбил ритм, когда я вошла. Так дышит человек, который либо очень спокоен, либо очень долго это репетировал.

Он встал. Высокий, с сединой на висках и трёхдневной щетиной, в тёмном свитере. Он повернулся ко мне не лицом, а правым ухом: наклон головы, развёрнутое плечо, корпус следом. Так поворачиваются люди, которые давно привыкли, что одно ухо у них не работает.

— Демид Заславский. Креативный директор.

Голос тихий. Не шёпот, не таинственность — именно тихо. Он не поднял громкость даже для представления, и мне

пришлось сделать полшага вперёд, чтобы расслышать окончание фамилии. За восемь лет работы со звуком я научилась узнавать голоса по двум словам. Этого голоса я не слышала никогда.

— Таисия Ремезова. Представитель студии звукозаписи «Резонанс».

— Звукозаписи. Интересно.

Он сел. Сели все. Села и я.

Эдуард Львович открыл папку.

— Медиагруппа «Ноктюрн» является правообладателем аудиосериала «Дыши мной» по лицензионному соглашению от четырнадцатого марта двадцать второго года. Автор под псевдонимом Мира Ноктюрн не прошёл верификацию по пункту шесть два договора…

Я перестала слушать на пункте шесть два и начала считать. Отец говорил: когда человек зачитывает пункты, он покупает время. Слушай не пункты — слушай, кто молчит.

Я посмотрела на Демида. Он молчал, смотрел на мои руки и не слушал Эдуарда Львовича. На левом запястье — часы «Полёт», старые, стальные, с коричневым ремешком. Секундная стрелка стоит. Человек, который носит мёртвые часы, не забыл их починить. Он решил их не чинить.

— …выплаты удерживаются до предъявления документов. Сумма накопленных удержаний — восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч рублей.

Я не изменила лицо. Восемь миллионов четыреста шесть-

десят. Сорок семь эпизодов по сто восемьдесят тысяч. Они посчитали мою арифметику до рубля и положили её в папку.

— Первый вариант: верификация, эксклюзив на три года, публикация имени и лица, аванс — полная сумма удержаний за десять дней. Второй вариант — продажа платформы стратегическому инвестору, контракт расторгается по пункту девять четыре, удержания возвращаются за сто восемьдесят дней минус санкции.

— Кто стратегический инвестор.

— «Ветров Капитал», — сказал Демид.

В комнате замолчали.

— Демид Северьянович… — начал Эдуард Львович.

— Я креативный директор, а не пресс-секретарь. Если она подпишет не глядя, проект уйдёт людям, которые купили долг студии её отца. Она имеет право знать.

Я перестала дышать на выдохе. Отец говорил: когда человеку страшно, он перестаёт дышать на выдохе, а не на вдохе.

— Откуда вы знаете про студию моего отца.

Он посмотрел прямо, обоими глазами. Глаза тёмные, почти чёрные, очень спокойные.

— Студия «Резонанс» выставлена на торги. В залоге у «Ветров Капитал» одиннадцать тысяч двести четырнадцать единиц хранения, сумма основного долга — четыре миллиона сто тысяч рублей. Я два года ищу автора «Дыши мной». В реестре нашёл только вас: дочь владельца и представительницу должника. Автора там не было.

— Вы искали меня в реестре?

— Я искал автора везде. Вас нашёл там.

Он поднял правую руку и снял наушник из правого уха. Один наушник, провод уходит под свитер. Правая рука без перчатки, от запястья до локтя белая блестящая кожа с тяжами. Ожог. Старый. Не тот, который прячут, — тот, с которым научились жить. Он положил руку на стол так, чтобы я видела целиком. Не спрятал. Не повернул ладонью вниз. Показал.

— Я слушаю ваш сорок третий эпизод с марта. Каждую среду, шесть месяцев.

— Почему сорок третий.

— Восемь минут двенадцать секунд. Человек приходит домой из больницы, ему просто сидят рядом и дышат в плечо. Говорят: «Не надо ничего делать. Просто будь». Шесть лет назад у меня была внезапная нейросенсорная тугоухость после отита и трёх бессонных месяцев. Слуховой аппарат возвращает звуки, но не голос. Эти восемь минут — единственное, что я слушал без перерыва.

Сорок третий эпизод я написала в марте, через восемь месяцев после ухода Кирилла, в три часа ночи, в кабине 3,1 × 2,4 м. Про себя. Про то, как прихожу домой после четырёх дней у реанимации, никто не трогает, и я сижу на полу у «Орбиты» и дышу в свитер, пахнущий канифолью. Я написала это для двухсот четырнадцати тысяч женщин. А человек напротив знал эти восемь минут лучше меня.

— Я не знала, что вы помните его наизусть, — сказала я.

— Я помню текст. Автора не знаю. И хочу узнать.

— Мы отклоняемся, — вмешался Эдуард Львович.

— Мы движемся прямо. Просто вы смотрели не в ту сторону.

Он снова надел наушник. Одно движение, привычное, и я поняла, что он делает так по сто раз в день.

— Раз уж вы представитель студии, прочитайте вслух.

Он подвинул планшет. Текст сорок седьмого эпизода, двадцать третья минута. Абзац, который я написала в мае, сидя в кабине с выключенным светом.

— Зачем.

— Тест на интонацию. Мы проводим его со всеми новыми дикторами.

Я посмотрела на Эдуарда Львовича — он смотрел в папку. На Вадима Сергеевича — он смотрел на часы. На Демида — он смотрел на меня и ждал. И я поняла, что если откажусь, то выдам себя вернее, чем если соглашусь.

Я придвинула планшет. Я знала каждую запятую, поставленную по дыханию, и читала нейтрально, как инструкцию к бытовой технике: ровно, без нажима, на одной высоте. Восемь лет работы научили меня прятать голос.

«Он стоял сзади и не касался. Это было хуже любого касания…»

Я дошла до двадцать третьей минуты. До слова «шея». Перед ним пауза четыреста миллисекунд, поставленная дыха-

нием, не монтажом. Я прочитала слово ровно.

Демид поднял левую руку и один раз нажал пальцем на стол, как ставят отметку.

— Достаточно. У вас хороший нейтральный тон. Вы держите его восемнадцать секунд, на девятнадцатой берёте воздух. Автор «Дыши мной» берёт его на четыреста миллисекунд раньше и потом держит. Единственное место в сорока семи эпизодах, где голос дрожит не по расчёту. Я искал этого человека два года.

Он наклонился вперёд, голос стал ещё тише.

— Сегодня вы вошли, сели и сделали четыре вдоха. На четвёртом задержали дыхание на выдохе. Ровно на четыреста миллисекунд.

Я встала. Обошла стол, не торопясь, так, как ходят, когда нужно переставить стул и никто не должен понять зачем. Поставила стул напротив Демида, на полтора метра правее, чтобы моё лицо оказалось перед его правым ухом. Села.

Он переспросил меня дважды за встречу. Оба раза, когда я говорила слева. Оба раза поворачивал голову и подавался корпусом, и оба раза делал вид, что задумался. Я не стала спрашивать. Вопрос «вы плохо слышите левым ухом?» — это вопрос, после которого человек либо врёт, либо открывает то, чего не собирался. Ни то ни другое не было моим правом. Я просто пересела.

Демид смотрел на меня очень долго.

— Спасибо. Сколько вы слушали?

— Три минуты. Вы поворачиваете голову на семь градусов и доворачиваете плечом. Не переспрашиваете — делаете вид, что задумались. Снимаете наушник, когда говорите, надеваете, когда молчите. Сидите спиной к окну, чтобы свет падал на собеседника. Это не про слух. Это про то, что вы привыкли, чтобы на вас не смотрели.

— Вас как зовут.

— Таисия Ремезова.

— Таисия Аркадьевна. Дочь Аркадия Ремезова. Реестр залогового имущества, я читал его четыре раза. Я не собирался говорить про сорок третий эпизод сегодня.

— Почему сказали.

— Потому что вы пересели. За два года со мной никто не пересаживался.

Эдуард Львович положил два листа. Эксклюзив на три года с правом редакции под «семейный формат» и авансом восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч. И уведомление о внеочередном собрании совета по продаже актива.

— Право редакции означает, что совет сможет смягчать или исключать сцены, — объяснил Вадим Сергеевич.

— Кто входит в редакционный совет.

— Я, — сказал Демид. — Совет из семи человек проголосует за вырезку, и я не смогу остановить, если у меня не будет эксклюзива.

— А если я не подпишу?

— Через месяц проект уходит холдингу. Через сто во-

семьдесят дней вам вернут деньги минус санкции. Через семьдесят пять дней студии «Резонанс» не станет.

Он сказал «семьдесят пять дней». Он прочитал моё дело до конца.

— У меня нет четырёх миллионов ста тысяч, чтобы закрыть долг.

— У вас есть четыре миллиона сто тысяч долга и восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч ваших денег, которые платформа держит, потому что вы два года боялись показать лицо. Разница в вашу пользу. Впервые за два года.

Он посмотрел на часы с мёртвой стрелкой.

— Я два года слушаю женщину, которая говорит правду и не называет имени. Хочу знать, как она выглядит, когда говорит это вслух.

У меня было четыре дня.

— Совет должен был решать сегодня. Мы перенесли заседание на вторник, девятнадцатое сентября. Если к началу автор не верифицирован, голосование по продаже пройдёт автоматически. Если вы придёте и скажете «да» — платформа останется нашей.

Он протянул руку. Белая кожа с тяжами от запястья к локтю, длинные пальцы, ни одного кольца. Рука тёплая, моя — холодная. Он задержал мою на секунду дольше, чем нужно для делового рукопожатия, и я подумала, что это потому, что у меня ледяные пальцы и он решил, что я мёрзну.

— До вторника.

У двери он произнёс в спину тихо, так что я услышала только потому, что стояла справа:

— Вы дышите так же, как она. На паузе перед словом «шея».

Я не обернулась.

— Я много курю.

— Вы не курите. У вас дыхание человека, который всю жизнь считает чужие вдохи.

Юля ждала внизу, и по её лицу я поняла, что она досчиталась до того, что я опаздываю.

— Ну?

— Они хотят моё лицо. И имя. И право вырезать из меня всё, что не понравится. Взамен — восемь миллионов четыреста шестьдесят.

Юля медленно опустилась на бордюр.

— Тая. Это чуть больше двух твоих долгов. И ты ещё думаешь?

— Я думаю.

Мы сидели на бордюре бизнес-центра на Обводном канале, ветер дул с воды, трамвай скрипел на двух килогерцах, и у меня в сумке лежали два листа, подписать которые означало перестать быть стеной.

— Кто он такой.

— Креативный директор. Слушает мой сорок третий эпизод с марта, шесть месяцев. Шесть лет назад потерял слух. Нейросенсорная тугоухость после отита и трёх бессонных

месяцев. Просто сказал. И показал руку.

Юля долго молчала.

— За последние два года тебе что-нибудь говорили просто так?

Ответ был «нет».

— Он тебя узнал?

— Нет. Но понял, что я пересела.

Юля посмотрела на меня как человек, который восемь лет сводит мой голос и знает в нём каждую щель.

— Значит, он слышит. Это хуже, чем если бы узнал.

Вечером я вернулась в студию и сделала то, что делаю всегда, когда мне нужно думать. Включила «Орбиту», поставила коробку № 412 и стала слушать целиком, не пропуская ни секунды.

На одиннадцатой минуте отец сказал: «Таисия». На девятнадцатой молодой голос: «Если студия уйдёт в торги, вы ничего не получите. Там уже есть оценка, и она не в вашу пользу». На двадцать третьей отец ответил: «Я записываю город сорок лет. Я знаю цену всему, что звучит».

На двадцать пятой минуте в комнату вошла женщина. Дыхание у окна, ровное, не мешало разговору. До конца записи оставалось три минуты, и она не произнесла ни слова. Я остановила плёнку и перемотала назад. Слушала это дыхание одиннадцать раз подряд. Не могла назвать имя. Но знала три вещи. Она привыкла жить рядом с человеком, который считает чужие вдохи. Молчала так, словно её слова ничего

не решали. Не закрыла дверь: она качнулась на петле на полсекунды. Значит, её ждали.

В каталоге отца против строки № 412 состав не был указан. За двадцать шесть лет он не пропустил ни одной записи, писал состав даже тогда, когда в комнате сидел один человек и молчал: «А. Ремезов, тишина, 41 минута». Здесь поля не было. Он не забыл. Он не захотел писать.

Я стояла в хранилище, где пахло пылью, канифолью и старым деревом, и в голове звучал тихий голос, который не повышают, а понижают: «Вы дышите так же, как она».

Он искал автора «Дыши мной» два года. Я искала женщину, которая простояла в углу три минуты, — четыре минуты.

У меня было четыре дня до вторника, девятнадцатого сентября, и семьдесят пять дней до торгов.

Я умею слышать, как дышит человек, который врал. До сегодняшнего дня это приносило мне только деньги.

ГЛАВА 3

Правило одного прикосновения

Демид положил на пульт протокол совета директоров.

— Продажу отложили до конца месяца. Не отменили.

— Что вы им сказали?

— Что верификация началась.

Я ещё не подписала ни одного листа. Но утреннее заседание дало нам время, а не спасение. Это был результат переноса, который он обещал четыре дня назад.

Я показала ему архив в полдень, когда свет из высокого окна падал на стеллажи под углом и пыль в луче двигалась медленно, как в аквариуме.

— Одиннадцать шагов от двери до кабины, — сказала я. — Считайте.

Он не стал считать. Он шёл рядом, и я слышала его шаги: ровные, без пауз, носок ставится раньше пятки — так ходят люди, которые привыкли занимать меньше места, чем могли бы. Мои одиннадцать шагов были короче. Его — длиннее. Мы пришли к кабине одновременно, и это было неправильно.

— Одиннадцать тысяч двести четырнадцать единиц хранения, — сказала я. — 11 214. Катушки, кассеты, цифровые файлы. Сорок лет звуков города. Отец вёл каталог вручную, каждую единицу описывал сам. Состав, дата, длительность, примечания. За сорок лет он не пропустил ни одной записи.

Он остановился перед стеллажом с катушками. Не тронул ни одну. Посмотрел на корешки, где отцовским почерком были написаны даты и составы. Я видела, как его взгляд скользит по строкам: не читает, сканирует. Так смотрит человек, который ищет не надпись, а то, что между ними. Пальцы правой руки висели вдоль тела, не касаясь ни полок, ни коробок. Он стоял так, как стоят в чужом доме, где всё можно трогать, но ничего не хочется нарушить.

Я подошла ближе. Запах архива — пыль, канифоль, старое дерево, горячий пластик усилителя — был для меня тем,

чем для других бывает запах материного дома. Здесь я выросла. Здесь отец учил меня различать тишину пустую и тишину наполненную. Здесь я впервые поняла, что звук — это не то, что слышно, а то, что остаётся, когда всё остальное умолкает.

— Что здесь? — спросил он.

— Дождь по жестяным подоконникам, девяносто седьмой год. Трамваи на Среднем проспекте. Скрип разводных мостов. Голоса во дворах-колодцах. Дыхание спящих людей в ночных электричках.

Он молчал. Я стояла в трёх шагах и слушала его тишину. Она была не пустой. В ней был вес — как в паузе перед тем, как человек скажет то, чего не собирался говорить.

— Поставьте, — сказал он.

Я достала катушку с маркировкой «97.09.14. Дождь. Жесть. Окно». Заправила ленту в «Орбиту», нажала воспроизведение. Щелчок реле. Шипение плёнки. И потом — дождь. Не тот, что бывает сейчас, пластиковый и ровный. Тот, старый: капли били по жести с разной силой, каждая со своим ритмом, и между ними были микропаузы, которые отец ловил направленной петлёй через открытую форточку. В комнате тогда было холодно, и отец рассказывал, как держал наушник одной рукой, а второй прижимал полотенце к раме, чтобы ветер не гудел.

Демид слушал.

Я смотрела на его лицо и впервые за всё время, что мы

были в одном пространстве, увидела, как оно меняется. Не улыбнулся. Не нахмурился. Что-то внутри сдвинулось — как стрелка прибора, которая долго стояла на нуле и вдруг дрогнула. Он не сказал «красиво». Он сказал:

— Здесь слышно, как падает капля.

И я поняла, что он услышал именно то, что отец хотел сохранить. Не дождь. Каплю. Одну. Ту самую, которая ударила о край подоконника на третьей минуте сорок семь секунд и которую я сама находила только с третьего прослушивания.

Я остановила плёнку. Тишина вернулась, но уже другая — с остаточным эхом жести в воздухе.

— Это не музей, — сказала я. — Это рабочий инструмент. Каждый звук здесь можно использовать.

Он кивнул. Не как клиент, которому показывают товар. Как человек, которого привели туда, где он должен был оказаться давно.

В кабине было 3,1 × 2,4 м. Серый войлок, деревянные рейки, микрофон на журавле. Я вошла первая, включила фантомное питание, проверила уровень. Красная лампочка над дверью ещё не горела — запись не шла, но цепь была живая. Войлок на стенах был тот же, что отец крепил в девяносто третьем: серый, плотный, с запахом времени. Рейки поверх него он прибивал сам, и я до сих пор знала, где молоток соскользнул дважды — на левой стене, в углу, рядом с пюпитром. Эти следы были для меня важнее любой акустической обработки: они означали, что комната сделана руками, а не

расчётами.

Он стоял в дверях. Ждал. Не входил без приглашения. Это было правильно: кабина была интимным пространством, и даже профессиональная привычка не отменяла границы, которая существует между человеком и помещением, где записывают голос.

— Зайдите, — сказала я.

Он зашёл. Кабина стала меньше. Не физически — акустически: второе тело изменило отражения, и войлок принял его присутствие быстрее, чем моё. Я привыкла к этому помещению за семнадцать лет, но сейчас почувствовала, как оно перестраивается вокруг чужого дыхания.

Микрофон стоял низко. Я всегда ставила его на три сантиметра ниже своего рта — привычка прятаться, которая осталась от Кирилла. Он говорил: «Ты говоришь в пол, Тая. Подними голову». Я поднимала. Потом опускала снова, потому что так было безопаснее: голос уходил вниз, рассеивался, не долетал до адресата целиком.

Демид посмотрел на микрофон. Потом на меня.

— Можно? — спросил он.

Я замерла.

Не от нежности. От того, что меня спросили. За четырнадцать месяцев никто не спрашивал. Кирилл, отец и Юля поправляли молча: все знали, как надо, а я позволяла, потому что разучилась различать, где кончается моя кожа и начинается чужое право на неё.

Демид спросил. В этом одном слове было больше уважения к моему телу, чем во всех молчаливых поправках.

— Да, — сказала я.

Он подошёл. Поднял журавль на три сантиметра. Его пальцы коснулись моей скулы — сухо, точно, без давления — и повернули мою голову к микрофону. Не подбородок. Не шею. Скулу. Туда, где кость ближе всего к коже и где нельзя случайно задеть то, что не должно быть задето без вопроса.

Его рука была тёплой. Не горячей. Тёплой, как металл, который долго лежал в кармане.

— Так лучше, — сказал он. И убрал руку.

Касание длилось меньше секунды. Но кожа на скуле помнила его ещё долго после того, как он отошёл к стене кабины и сложил руки на груди.

Я стояла перед микрофоном, который теперь был на правильной высоте, и думала о том, что правило одного прикосновения — это не про безопасность. Это про уважение к границе, которую другой человек может не знать, но обязан предполагать.

Мы вышли из кабины. Лампочка погасла. Воздух в аппаратной казался холоднее, хотя термостат показывал те же двадцать два градуса.

На лестнице над студией послышались шаги. Тяжёлые, неровные, с характерным пристукиванием левой ноги — Грот. Часовщик. Он жил на втором этаже этого дома с девяносто первого года, знал каждый скрип каждой ступени и

приходил к нам не по расписанию, а по необходимости, которую определял сам.

Дверь открылась без стука. Грот вошёл, держа в руках настенные часы с кукушкой, которые висели в его прихожей с советских времён. Он был в жилетке поверх рубашки, несмотря на тепло в студии, и от него пахло машинным маслом и табаком — запах человека, который работает руками и не считает нужным менять одежду для визитов.

— Опять гости, — сказал он. Громко. Глуховато. Он плохо слышал высокие частоты и компенсировал это громкостью собственной речи. Отец называл это «акустической щедростью»: Грот отдавал звуку больше, чем получал обратно.

— Здравствуйте, Савелий Петрович, — сказала я.

— Здравствуй, Таисия. Кто такой?

— Демид Заславский. Креативный директор «Ноктюрна».

Грот посмотрел на Демида. Прищурился. Потом его лицо изменилось — узнавание, медленное, как завод старого механизма.

— Ты из тех, кто тушил в тринадцатом году, — сказал он. Не вопрос. Утверждение.

— Да, — ответил Демид.

— Пожар на складе, угол Марата и Разъезжей. Ты выносил катушки. Я видел тебя в новостях. Лицо запомнил.

Я не знала об этом. Посмотрела на Демида. Он не изме-

нился в лице, но дыхание стало глубже — один вдох на четыре секунды вместо обычных трёх. Так дышит человек, которого вернули туда, куда он не хотел возвращаться.

— Часы вот, — сказал Грот, протягивая мне механизм. — Маятник сбился. Ты отца учила чинить, он тебе передал.

— Папа не чинил часов, Савелий Петрович. Он их записывал.

— Ну да. Тик-так. У него была катушка с тиканьем всех часов в доме. Я ему свои принёс однажды. Он сказал: «Ваши стучат как сердце с аритмией». Починил потом. Бесплатно.

Грот перевёл взгляд на левое запястье Демида.

— «Полёт»? Давно таких не видел. А секундная стрелка у тебя стоит.

— Знаю.

— Давай починю. Снимешь, через час заберёшь.

Демид накрыл часы правой ладонью.

— Не надо.

— Я аккуратно. Таисия подтвердит.

— Я не сомневаюсь. Не чиню их принципиально.

— Стрелка сломана?

— Сломана. Пусть так и остаётся.

Грот посмотрел на него ещё несколько секунд, потом махнул рукой.

— Это я понимаю. У меня тоже есть вещи, которые чинить запрещено.

Он поставил свои часы на стол, кивнул мне и вышел. Ша-

ги по лестнице удалились: тяжёлые, неровные, с пристукиванием. Дверь закрылась. Щелчок защёлки — звук, который я слышала тысячу раз и который всегда означал одно: Грот пришёл и ушёл, и мир на лестничной клетке вернулся в прежнее состояние.

— Он знает вас, — сказала я.

— Он знает пожар, — ответил Демид. — Это разные вещи.

Я не стала спрашивать подробности. В его голосе была граница, которую я научилась слышать за последние дни: не стена, а порог. Переступать без приглашения я не собиралась.

Телефон завибрировал в кармане в четыре часа дня. Экран показал «Мама». Я вышла в коридор, где акустика была суше и слова не отскакивали от стен.

— Таечка, ты опять не ела.

Не вопрос. Диагностика. Мать определяла мой голод по интонации точнее, чем любой анализ крови.

— Ела, мам.

— Что именно?

— Суп.

— Какой суп?

Я замолчала. Супа не было. Был чай и половина булки, которую я купила вчера и забыла съесть.

— Таисия. Когда ты последний раз выходила куда-то кроме работы?

— В понедельник. В аптеку.

— Аптека — это не «куда-то». Аптека — это продолжение болезни. Ты должна выходить жить, Таечка.

— Я живу, мам.

— Ты работаешь. Жить и работать — разные глаголы. В субботу приедешь?

— Приеду.

— К обеду?

— К обеду.

— Я сделаю борщ. Настоящий, не тот, что ты называешь борщом. И пирожки. С капустой. Ты ешь пирожки с капустой?

— Ем.

— Вот и хорошо. Целую.

Она положила трубку. Я стояла в коридоре и слушала гудки отбоя. Мать не знала про Миру. Не знала про двести четырнадцать тысяч подписчиц. Не знала про контракт, про долги, про семьдесят один день до торгов. Она знала, что я не ем суп, что я хожу в аптеку вместо жизни и что в субботу я приеду на борщ.

Это была единственная правда, которую я могла ей дать. И единственная ложь, которую она принимала без проверки.

Юля сидела за пультом, когда я вернулась. Перед ней лежали наушники, и на мониторе была открыта волна сорок седьмого эпизода.

— Я поставлю ему фрагмент, — сказала она. — Ты не

против?

— Зачем?

— Хочу посмотреть, как он слушает.

Демид стоял у стены аппаратной, там, где тени от стеллажей ложились на лицо. Юля нажала воспроизведение. Фрагмент начался с середины: женский голос, мой, но не мой — голос Миры, читающий сцену, где мужчина кладёт ладонь женщине на шею и ждёт, пока она сама прижмётся.

Демид закрыл глаза.

Я наблюдала за ним. Не за лицом — за дыханием. Оно изменилось на двенадцатой секунде фрагмента: стало тише, ровнее, как будто тело автоматически подстроилось под ритм записи. На двадцать восьмой секунде он снял второй наушник. Не потому, что ему было неприятно. Потому что одного хватило. Второй был лишним — он уже слышал всё, что нужно, через первый.

Фрагмент закончился. Юля остановила воспроизведение. Демид открыл глаза. Не сказал ничего. Просто кивнул — коротко, как человек, который подтверждает не оценку, а факт.

Юля проводила его взглядом до выхода из аппаратной. Потом повернулась ко мне.

— Он слышит тебя не ушами, — сказала она тихо.

Я не ответила. Потому что знала: она права. И потому что не знала, что с этим знанием делать.

Кирилл позвонил в семь вечера. Номер я не удалила — не из сентиментальности, а из профессиональной привычки:

звукорежиссёр не стирает записи, даже плохие. Они нужны для сравнения.

— Тая, привет. Нам нужно встретиться. По делу холдинга.

Голос ровный. Вежливый. Без придыхания, без пауз, без тех микросдвигов, которые я когда-то читала в нём как карту. Теперь карта была чистой. Я слышала только слова.

— Какое дело?

— Вопрос по авторским правам на архив. Юристы «Ноктюна» запросили документы, и там есть пункты, которые касаются тебя лично. Лучше обсудить лицом к лицу.

— Обсуди с юристами.

— Тая.

— Кирилл. Если это касается прав — пусть пишут письмо. Если это касается меня лично — я не хочу обсуждать это лицом к лицу.

Пауза. Четыреста миллисекунд. Ровно столько, сколько нужно, чтобы понять: человек подбирает следующую фразу, а не чувствует её.

— Хорошо. Я передам юристам.

— Спасибо.

— Береги себя.

— Ты тоже.

Я положила трубку. Четыреста миллисекунд. Раньше я бы услышала в этой паузе сожаление, или надежду, или хотя бы привычку. Сейчас я услышала только время, которое потребовалось мозгу, чтобы выбрать корректный ответ из списка

допустимых.

Голос Кирилла остался у меня в ушах. Я достала телефон и нашла сорок секунд, которые Юля днём оцифровала из коробки № 412. Номера и карточки каталога в файле не было. Только два мужских голоса.

— Послушайте, — сказала я Демиду. — Без имён.

— Что я должен услышать?

— Пока ничего. Просто слушайте.

Я включила фрагмент через маленький динамик. Демид подался к нему правым ухом. В левом он почти не слышал. На фразе «это формальность» его пальцы остановились на краю пульта.

— Когда это записано?

— Девятнадцатого апреля две тысячи девятнадцатого.

— Молодой голос вам знаком?

— Не уверена. Поэтому и прошу.

Он прослушал ещё раз. Ничего не сказал о коробке, которой не видел, и о записи, которой у него не было.

Вечер в студии тянулся медленно. Демид ушёл в девять, не попрощавшись — просто кивнул и вышел, и я слышала, как его шаги растворились в звуках улицы Марата. Юля ушла в десять. Я осталась одна.

Аппаратная пахла пылью, канифолью и остывшим пластиком усилителя. Красная лампочка над дверью не горела. Тишина была полной — той самой, которую отец называл «рабочей»: не отсутствие звука, а его ожидание.

Я села за пульт, чтобы проверить уровни перед завтрашней сессией. Рука легла на фейдер, и пальцы нашли знакомую ложбинку — место, где лак стёрся за годы. Отцовская рука была больше моей. Моя ложбинка была рядом, чуть левее.

Записка лежала под фейдером.

Белый лист, формат визитки. Почерк не отцовский. Ровный, мелкий, без наклона — так пишут люди, которые привыкли фиксировать данные, а не эмоции.

«В записи, которую вы мне дали, я знаю этот голос. Не молодой — старший. Позвоните, если захотите проверить».

Ни подписи. Ни номера телефона. Он отвечал на мой фрагмент, а не на коробку, которой никогда не видел. И всё же слово «знаю» перехватило мне дыхание.

Я перечитала записку три раза. Демид услышал сорок секунд и выделил старшего. Я всё ещё сомневалась в молодом. Теперь у сомнения появился следующий шаг: полная копия, чистый звук, сравнение.

Часы на стене показали двадцать три пятьдесят восемь.

Я достала телефон. Нашла номер, который он оставил в договоре — рабочий, корпоративный, без имени в контактах. Нажала вызов.

Гудок. Один. Два.

— Слушаю.

Его голос. Ночной. Ниже дневного на четверть тона, без деловой оболочки, которую он носил в студии. Так говорит

человек, которого разбудили или который не спал и ждал звонка.

— Это Ремезова, — сказала я. — Вы оставили записку.

Пауза. Не четыреста миллисекунд. Длиннее. Настоящая.

— Да. Пришлите полную копию и спектрограмму через Юлю. И карточку архива.

— Сначала скажите, кого узнали.

— По телефонному динамику не называют имена. Я знаю человека. Запись ещё надо проверить.

— А молодой?

— Его я не знаю. Здесь вы слышите лучше меня.

— Семьдесят один день до торгов, Демид. У меня нет времени на проверки без причины.

— Причина есть. В две тысячи девятом человек с такой же одышкой оценивал студию моего отца.

— Вашего?

— До сегодняшнего вечера я не связывал наши истории.

— А теперь?

— Теперь хочу проверить голос. А вам нужно знать, с чего началась моя.

Я стояла в аппаратной, где пахло пылью и канифолью, и держала телефон у уха. За стеной, в кабине, тишина ждала. На столе лежала записка о голосе, который я сама ему дала послушать. В голове звучал его голос — ночной, настоящий, без оболочки.

— Расскажите, — сказала я.

И он начал рассказывать.

ГЛАВА 4

Четыреста двенадцатая коробка

— Мой отец держал маленькую студию дубляжа, — начал Демид. — В две тысячи девятом она ушла вместе с долгами. Перед этим её оценивал человек, который тоже называл оценку формальностью.

— Он был живым человеком, а не голосом в вашем телефоне.

— Он задыхался на последнем слоге. И отец тогда молчал так же, как ваш на плёнке.

— Поэтому вы написали «знаю»?

— Поэтому написал. Но имя назову после полной записи.

— Я пришлю её после восстановления.

— Тогда мы узнаем, одна это история или две похожих.

Он повесил трубку. Я осталась с телефоном в руке и слушала короткие гудки. Впервые его прошлое прозвучало не как сведения из договора, а как ещё одна испорченная плёнка.

Следующие три дня я не давала никому полную запись. Сначала нужно было снять копию, не повредив оригинал. Юля готовила станцию, я искала чистый кабель и ждала субботы.

В субботу, 23 сентября 2023 года, я приехала в Купчино. До торгов двадцать девятого ноября оставалось шестьдесят

семь дней.

Мать открыла дверь и сразу сказала:

— Ты похудела.

Я не успела переступить порог. Ботинки ещё стояли на коврике, а приговор уже был вынесен.

— Не похудела, мам.

— Похудела. Проходи, чай остывает.

Квартира в Купчино пахла вареньем из кабачков и горячим маслом. На балконе стояли двенадцать банок: с огурцами, вареньем и пустые. Мать хранила там то, что нельзя выбросить и некуда поставить.

На кухне было жарко. Окно закрыто, форточка приоткрыта на два пальца, батарея шипела, как старый усилитель на перегрузке. Я села за стол и почувствовала, как спина прилипает к стулу. Мать поставила передо мной чашку — зелёный чай, мёд, лимон, всё как в детстве, только чашка была другая. Старую она разбила весной и не стала склеивать.

— Ешь пирог, — сказала она. — С капустой.

Пирог был горячий. Я откусила, чтобы не спорить. Тесто дрожжевое, начинка пересолена — мать всегда пересаливала, когда волновалась. Сегодня она волновалась. Я слышала это по тому, как она ставит посуду: чуть громче обычного, с металлическим призвуком о раковину, который она обычно гасит полотенцем. Сегодня полотенце лежало сухое.

— Как студия? — спросила она.

— Работает.

— Юля говорит, ты ночуешь там третью неделю подряд.

Юля звонила матери. Я не злилась: так она убеждалась, что я жива.

— Работаю над архивом, — сказала я.

— Архив подождёт. Ты не подождёшь.

Она села напротив и сложила руки на столе. Руки у неё были тёплые, с короткими ногтями, без колец. Отец подарил ей обручальное кольцо в девяносто первом, она носила его до двухтысячных, потом сняла — мешало мыть посуду. Так и не надела обратно.

— Тая, — сказала она. — Я хочу тебе кое-что рассказать.

Я поставила чашку. В её голосе была пауза перед ударением — триста миллисекунд, я засекала такие паузы на работе по десять раз в день. Пауза человека, который репетировал эту фразу и всё равно не нашёл безопасного начала.

— Слушаю, — сказала я.

— Я встречаюсь с человеком.

Тишина. Холодильник гудел на низкой частоте, сорок герц, я знала этот гул с детства. За окном проехал трамвай, тормоза взвизгнули и затихли. Мать смотрела на меня и ждала.

Я ждала тоже. Ждала, что почувствую что-то определённое: ревность, обиду, облегчение, радость. Что угодно. Но внутри было ровно, как в заглушённой кабине, когда выключаешь мониторы и остаёшься один с собственным дыханием.

— Кто он? — спросила я.

— Павел Андреевич. Пятьдесят семь лет. Терапевт.

— Врач?

— Да.

— Где вы познакомились?

— В поликлинике. У меня давление скакало. Он назначил обследование, потом пришёл результат, потом он позвонил и сказал, что хочет увидеться вне рабочего времени.

Она произнесла «вне рабочего времени» так, как говорят люди моего поколения о чём-то постыдном. И тут же поправила осанку, как будто одёрнула себя.

— Тебе пятьдесят четыре, мам.

— Знаю.

— Это хорошо.

— Хорошо?

— Да.

Она посмотрела на меня с таким выражением, которое я не смогла расшифровать. Не облегчение. Не разочарование. Что-то среднее, как звук, который попадает между двумя нотами и не принадлежит ни одной.

— Ты не сердишься? — спросила она.

— Нет.

— Совсем?

— Совсем.

И это была правда. Я не сердилась. Я растерялась. Потому что у моей матери было желание — конкретное, живое, с именем и возрастом, с телефоном и расписанием встреч. А

у меня не было. Четырнадцать месяцев у меня не было ничего, кроме голоса Миры Ноктюрн, который знал четыреста способов заставить чужое тело дрожать и ни одного — своё.

Мать отвела взгляд. Посмотрела в окно, на банки, на балконную раму, которую отец красил последний раз в две тысячи пятнадцатом. Краска облупилась, и под ней проступало дерево — серое, сухое, живое.

— Отец записывал всё, — сказала она тихо. — А нас — будто между делом.

Я не ответила. Это было не обвинение, а признание, которого она не произносила вслух двадцать шесть лет.

— Он приходил домой и включал магнитофон, — продолжала она. — Записывал дождь, трамваи, соседей сверху. Записывал, как скрипит дверь подъезда. А нас записывал редко. Я думала, тех плёнок не осталось.

— Может, боялся испортить.

— Может. А может, думал, что мы никуда не денемся.

Она помолчала. Потом добавила:

— Денемся. Все денемся. Просто некоторые — раньше, чем другие.

Я допила чай. Он был сладкий, с привкусом лимона и металла от старой ложки. Мать встала и пошла к полке в коридоре, где стояли коробки с отцовскими вещами — те, что она не перевезла в студию и не выбросила. Вернулась с катушкой.

— Нашла двадцать второго сентября, — сказала она. —

Когда искала рецепт пирога. Лежала вместе с кулинарной книгой.

Катушка была подписана отцовским почерком: «Голос женщины, которая ждёт. 12.03.1998».

Я взяла её. Пластик тёплый от материнских рук. Лента внутри — коричневая, потёртая на витках, но целая. Дата: двенадцатое марта девяносто восьмого года. Мне тогда было восемь месяцев.

— Ты слышала её? — спросила я.

— Нет. Боюсь.

— Хочешь, послушаем вместе?

Она кивнула. Я достала из сумки переносной плеер — не студийный, обычный, тот, что использую для черновых прослушек. Вставила катушку, нажала воспроизведение.

Щелчок. Шум ленты — ровный, низкий, как дыхание во сне. Три секунды тишины. Потом голос.

Женский. Молодой. Низкий регистр, мягкая атака на согласных, лёгкая придыхательность на гласных — так говорит женщина, которая только что проснулась или долго молчала. Голос читал текст:

«…и она стояла у окна, и ждала. Не того, кто придёт. Того, кто выйдет. Из аппаратной. Из-за пульта. Из-за стекла, за которым горит красная лампочка и где мужчина, которого она любит, записывает чужие голоса…»

Мать сидела неподвижно, сцепив пальцы до белых костяшек. Её лицо менялось рывками: удивление, узнавание, по-

том что-то без названия. Я никогда не видела, чтобы она плакала именно так.

Не от горя. Не от радости. От встречи с собой.

Голос на плёнке продолжал:

«…она ждала, когда он выйдет. Не потому что ей было одиноко. А потому что только когда он выходил, она начинала слышать себя. Без него она была тишиной. С ним — становилась звуком…»

Запись оборвалась на полуслове. Щелчок. Конец стороны.

Мать сидела и плакала. Тихо, без всхлипов, слёзы текли по щекам и капали на клеёнку. Она не вытирала их. Я тоже не двигалась. В комнате было слышно только холодильник, моё дыхание и её — неровное, с микропаузами на вдохе, которые я считала автоматически: двести миллисекунд, триста, двести пятьдесят.

Через минуту она заговорила.

— Это я.

— Да.

— Мне тогда было двадцать восемь.

— Да.

— Я забыла, какой у меня был голос.

Она посмотрела на катушку, как смотрят на фотографию человека, которого любили и потеряли, но потеряли не смертью, а временем.

— Я тогда ждала не твоего отца, — сказала она. — Я ждала, когда он выйдет из аппаратной.

Я поняла. Она ждала не мужа, а момента, когда звукорежиссёр снимет наушники, повернётся к ней и скажет: «Я услышал».

— Мам, — сказала я.

— Да?

— Ты хочешь ещё раз?

Она покачала головой.

— Нет. Один раз достаточно. Чтобы помнить.

Я остановила плеер. Вытащила катушку и положила её на стол рядом с недопитым чаем. Мать вытерла лицо рукавом — тем же жестом, каким вытирала мне щёки в детстве, только теперь рукав был её собственный.

— Возьми её себе, — сказала она. — Для архива.

— Ты уверена?

— Ей место в архиве. Здесь — кухня.

Я спрятала катушку в сумку. Мы молчали ещё несколько минут. Потом мать встала, подошла к плите и начала разогревать суп. Движения привычные, экономные, с ритмом, который она выработала за тридцать лет у этой плиты. Я слушала её спину и думала о том, что мой отец записал одиннадцать тысяч двести четырнадцать единиц звука и почти ничего — о своей жене. Эта катушка оказалась исключением.

А она хранила катушку вместе с кулинарной книгой. Не в архиве. На кухне. Там, где жила.

Вечером того же дня, двадцать третьего сентября, я принесла коробку № 412 в студию.

Юля уже была на месте — сидела за пультом, пила кофе из термоса и смотрела на монитор, где открыта была спектрограмма какой-то записи. Услышав мои шаги, она обернулась.

— Привезла?

Я поставила коробку на стол. Синий маркер, отцовский почерк: «19.04.2019. Студия. Оценка». Моя приписка поверх: «Не отдавать».

— Давай, — сказала Юля.

Мы работали молча. Она подключила катушечник к цифровой станции, я выставила уровни. Отец записывал на скорости девятнадцать сантиметров в секунду, стандарт для речи, но микрофон стоял далеко — метрах в трёх от стола, судя по акустике комнаты. Значит, нужны были компрессия и эквализация, чтобы вытащить голоса из фона.

Юля крутила регуляторы, я слушала. Первый голос — оценщик. Лет пятьдесят, слегка задыхается на последнем слоге, как человек с лишним весом или нездоровым сердцем. Второй — молодой, двадцать четыре года, говорит быстро, чуть в сторону от микрофона.

Третий — отец. Спокойный, ровный, профессиональный. Так он говорил, когда работал: без эмоций, без оценки, просто фиксация.

«Пишите, Аркадий Иванович, чего уж там», — сказал оценщик.

«Пишите. Мне скрывать нечего», — сказал молодой.

Юля подняла глаза от монитора.

— Второй голос, — сказала она. — Ты слышишь?

— Слышу.

— Это Кирилл Дорн.

Теперь я была уверена. Я узнала его с третьего прослушивания очищенного фрагмента и больше не могла прятаться за сомнение.

Кирилл Дорн родился в 1994 году. В апреле 2019-го ему было двадцать четыре. Сейчас, в двадцать девять, его голос стал ниже, но поспешный выдох перед «нечего» не изменился. С той записи прошло четыре года. Я проверила дату рождения ещё в две тысячи двадцать первом: не из подозрения, а из привычки запоминать всё, что связано с голосом.

— Ему было двадцать четыре, — сказала я.

— Да.

— Он пришёл в мою жизнь в две тысячи двадцать первом.

— Через два года после этой записи.

— Значит, он знал студию за два года до нашего знакомства.

Юля не ответила. Она не отвечала, когда факты говорили сами. Вместо этого она выделила фрагмент на спектрограмме и увеличила масштаб.

— Смотри. Вот здесь, на второй минуте сорок седьмой секунде. Отец называет реальную цену.

Я наклонилась к монитору. Волна была чистой, разборчивой.

«Реальная стоимость — 4 100 000 #. Помещение, оборудование и работа».

Следом ответил оценщик:

«В отчёт пойдёт 1 200 000 #. Банку нужна ликвидная оценка».

Один миллион двести тысяч вместо четырёх миллионов ста тысяч. Оборудование — три «Орбиты», два цифровых рекордера, микрофонный парк — вообще исчезало из этой арифметики. Кабина, которую отец строил сам, тоже.

— Занижение в три раза, — сказала Юля.

— Минимум.

— Это не ошибка. Это договорённость.

Я кивнула. Оценщик и Кирилл говорили спокойно, без напряжения, без пауз сомнения. Так разговаривают люди, которые делали это не впервые и не собирались делать в последний раз.

— Дальше, — сказала я.

Юля прокрутила. Через четыре минуты отец произнёс:

«Запись ведётся. Табличка на двери. Если кто-то против — скажите сейчас».

Пауза. Две секунды.

«Нет вопросов, Аркадий Иванович», — сказал оценщик.

«Пишите», — сказал Кирилл.

Я остановила воспроизведение.

— Табличка, — сказала я.

— Слышу.

— «Ведётся запись. Говорите правду». Он предупреждал вслух.

Юля открыла блокнот. Записала дату, время, номер катушки, таймкод фразы.

— Запись сделана в помещении студии, — сказала она. — Предупреждение озвучено, согласие получено. Значит, она пригодна.

— Но?

— Но нужен оригинал носителя. И экспертиза. Цифровая копия — это доказательство второго сорта. Суд может принять, может нет. Оригинал — это первое.

— Оригинал вот он.

— Вот он. Но его нужно передать эксперту в запечатанном виде, с актом изъятия из архива и цепочкой хранения. Если цепочка прервётся хоть на час — защита развалит.

Я посмотрела на катушку. Коричневая лента, пластиковый корпус, отцовская надпись синим маркером. Вещественное доказательство того, что мою студию оценивали втрое дешевле, чем она стоила, и что человек, который пришёл ко мне с кофе через два года, был частью этого процесса.

— Сколько времени займёт экспертиза? — спросила я.

— Двенадцать рабочих дней. Минимум.

Шестьдесят семь дней до торгов. Двенадцать рабочих — на экспертизу.

— Делаем, — сказала я.

Юля кивнула и начала готовить акт. Я сидела в аппарат-

ной, где пахло пылью, канифолью и горячим пластиком, и слушала тишину. Не ту, что бывает в заглушённой кабине. Ту, что бывает после того, как узнаёшь то, чего не хотел знать.

Демид пришёл в девять вечера.

Я была одна. Юля ушла в семь, оставив на пульте распечатку спектрограммы и записку: «Ешь». Я не ела. Сидела в кресле отца и смотрела на выключенный монитор, где чёрный экран отражал красный огонёк катушечника в режиме ожидания.

Он не постучал. Вошёл тихо, как входит человек, который знает, что его ждут, даже если ему не сказали «приходи». Я услышала его шаги за три метра до двери — левая нога чуть тяжелее правой, привычка, которая появляется у людей, которые долго стояли на одном месте и научились переносить вес незаметно.

— Добрый вечер, — сказал он.

— Добрый.

Он прошёл в аппаратную, остановился у стола, посмотрел на распечатку. Не взял её. Просто посмотрел и понял.

— Вы нашли второй голос, — сказал он.

— Да.

— Кирилл Дорн.

— Да.

Он помолчал. Потом сказал то, чего я не ожидала:

— Первый голос. Оценщик. Я знаю его.

Я подняла голову.

— Знаете?

— Его зовут Борис Самойлович Гринберг. В две тысячи девятом году он оценивал студию моего отца. Перед продажей.

Тишина. Усилитель гудел на холостом ходу, тихий фон, шестьдесят герц, я слышала его всю жизнь и перестала замечать. Сейчас он вернулся.

— Ваш отец тоже потерял студию? — спросила я.

— Да.

— Через заниженную оценку?

— Да.

— Тот же оценщик?

— Тот же.

Он сел на край стола. Не в кресло, не на стул. На край стола, рядом с распечаткой, достаточно близко, чтобы я видела его профиль в свете красного огонька. Правая рука лежала на колене, ожог на тыльной стороне ладони белел в полумраке.

— Мой отец умер в две тысячи девятом, — сказал он. — Студия осталась с долгами. Гринберг оценил её в восемьсот тысяч. Продали за миллион. Реальная цена была три с половиной. Пожар случился позже, в две тысячи тринадцатом, когда я уже выкупил её. Там я получил ожог.

Я считала. Восемьсот тысяч против трёх с половиной миллионов. Занижение в четыре с лишним раза. Хуже, чем у нас.

— Вы знали об этом, когда пришли ко мне? — спросила я.

— Нет. Я знал, что Гринберг работает с «Ветров Капитал». Не знал, что он трогал вашу студию. Узнал сегодня, когда Юля прислала спектрограмму и очищенную запись. До этого у меня были только ваши сорок секунд.

— Почему не позвонили?

— Потому что хотел прийти.

Он посмотрел на меня. В полумраке его глаза были тёмные, без бликов, и я не могла прочитать в них ничего, кроме внимания. Того самого внимания, которое мой отец давал звуку, а не людям. Только Демид давал его человеку.

Мы молчали. Наши беды были сделаны одной рукой, её имя записано на плёнке между нами. Впервые с нашего знакомства эта тишина не требовала перевода.

Он заговорил первым.

— У вас есть тридцать дней.

Я не переспросила. Ждала.

— Тридцать дней, чтобы они узнали, кто вы, — сказал он. — Совет директоров, Ветров, платформа. Все, кому нужно знать, что Мира Ноктюрн — это Таисия Ремезова.

— А если не узнают?

— Тогда я куплю этот долг сам.

Долг студии составлял 4 100 000 рублей. «Ветров Капитал» выкупил право требования и теперь держал надо мной не меч, а обычный договор с датой торгов. Демид сказал это так, словно уже изучил каждый пункт.

— Зачем? — спросила я.

Он посмотрел на меня. Не на распечатку, не на катушку, не на красный огонёк. На меня. Женщину в отцовском свитере, которая сидит в кресле мёртвого звукорежиссёра и спрашивает «зачем» не потому, что не понимает, а потому, что боится понять.

— Потому что два года я искал человека, который научил меня снова хотеть слышать, — сказал он. — Я не знал, что это женщина в отцовском свитере.

Тишина. Усилитель гудел. Красный огонёк пульсировал в режиме ожидания, раз в секунду, как сердцебиение машины, которая спит, но не выключена.

Я сидела и слушала его дыхание. Ровное, без микропауз, без срывов. Так дышит человек, который сказал правду и не ждёт награды.

Тридцать дней. Шестьдесят семь до торгов. Двенадцать на экспертизу. И один человек, который готов купить чужой долг, потому что два года искал голос, а нашёл женщину.

Я не ответила. Не потому что не знала, что сказать. А потому что впервые за четырнадцать месяцев мне не нужно было говорить голосом Миры Ноктюрн, чтобы быть услышанной.

Демид встал. Подошёл к двери. Остановился.

— Спокойной ночи, Тая, — сказал он.

И вышел.

Я открыла сорок седьмой эпизод на пульте. Курсор оста-

новился перед словом «шея». Впервые мне захотелось услышать этот фрагмент не в исполнении Миры. Своим собственным голосом.

ГЛАВА 5

То, что слышно только в темноте

Красная лампочка над дверью горела, и я знала, что голос звучит неправильно.

Не фальшиво. Не слабо. Просто — не настоящим. Я читала сорок седьмой эпизод вслух в пустой кабине, и каждое слово женской партии ложилось на воздух как декорация. Тело молчало. А без тела Мира Ноктюрн была просто набором частот.

— «Он положил ладонь мне на шею», — сказала я.

Пауза. Восемьсот миллисекунд. В наушниках собственный голос возвращался ко мне ровным, выверенным, мёртвым.

Я остановила запись. В кабине три и один на два и четыре метра войлок гасил отражения, рейки забирали верхние частоты. Сегодня оставалась только пустота, которую я принесла с собой.

Четырнадцать месяцев моё тело не участвовало в том, что делал голос. Двести четырнадцать тысяч женщин верили, что Мира чувствует каждое прикосновение, а я в свитере на два размера больше описывала руки, которых на мне не было.

Я потянулась к банке с водой на полу. Тёплая, третья за ночь. Глоток пересохшего горла. Щелчок сустава на среднем пальце правой руки — привычка, оставшаяся от отца: когда звук не идёт, тело начинает шуметь само.

Лампочка над дверью погасла. Запись остановлена. Я сидела в темноте и слушала, как кабина дышит вместе со мной — тихий гул усилителя за стеной, далёкий шум улицы Марата через вентиляцию, собственный вдох, который никуда не вёл.

Был час десять ночи двадцать шестого сентября. Шестьдесят четыре дня до торгов. И ни одного звука, который был бы правдой.

Дверь скрипнула.

Не громко. Петля качнулась на полсекунды — я знала этот звук с девяти лет. Кто-то стоял в проёме и не входил.

— Можно?

Голос Демида. Тихий, ниже обычного, без вопросительной интонации профессионала. Он спрашивал не разрешения войти в кабину. Он спрашивал разрешения войти в то, что происходило внутри неё.

За четырнадцать месяцев никто не спросил меня «можно?» в контексте, который касался чего-то большего, чем микрофон или стул.

— Да, — сказала я.

Он вошёл. Шаги по войлоку почти бесшумны. Я слышала только дыхание — ровное, чуть замедленное, как у человека,

который контролирует себя не из вежливости, а потому что знает: здесь каждый звук имеет вес.

Он закрыл дверь. Темнота стала плотнее. Красная лампочка не горела, и единственным источником света был прямоугольник уличного фонаря под потолком, где войлок не доходил до самого верха. Его силуэт в этом свете был тёмным пятном без деталей.

— Ты одна, — сказал он. Не вопрос. Констатация.

— Я всегда одна, когда записываю.

— Нет. Когда ты записываешь, ты не одна. Ты с Мирой. А сейчас ты была одна.

Я молчала. Он был прав, и это было невыносимо.

— Я хочу услышать, как это читает человек, а не персонаж, — сказал он.

— Вы уже слышали.

— Я слышал Миру. Я хочу услышать Таю.

Моё имя в его рту звучало иначе, чем в любом другом. Не ласково. Не официально. Как название частоты, которую он настраивал.

— Здесь темно, — сказала я.

— Так лучше.

— Почему лучше?

— Потому что в темноте голос не позирует.

Он подошёл ближе. Я слышала, как ткань его рубашки шуршит при движении — хлопок, не синтетика, старая, мягкая. Запах: не одеколон, а что-то тёплое, металлическое, как

нагретый усилитель. Кабина пахла пылью, канифолью и им.

— Вы давно здесь стоите? — спросила я.

— С тех пор, как вы перестали читать вслух. Минут пять.

— И вы слушали тишину?

— Я слушал вас в тишине. Это разное.

— Вы всегда так входите? Без стука?

— Стук — это требование. Я не требую.

Демид установил второй микрофон на соседнюю стойку и подключил его к свободному каналу пульта. Один микрофон остался передо мной, второй он повернул к себе.

— Наушники, — сказал он.

Я оставила левую чашку на своём ухе. Правую сняла и протянула Демиду. Он прижал её к своему правому уху и поддержал натянувшуюся дужку. Одна пара на двоих. Моё правое ухо осталось открытым для его голоса.

Щелчок. Он включил запись и мониторинг. Мой текст. Эпизод сорок семь. Но в наушниках звучал не мой голос.

Его.

Нижний регистр, тише, чем моя озвучка мужской партии. Без актёрской хрипотцы. Без расчётных пауз. Он читал строки, которые я написала восемь месяцев назад в три часа ночи, сидя на кухне коммуналки, и впервые они звучали так, как будто кто-то говорил их живому человеку.

— «Подойди ко мне».

Его рот был близко. Не у микрофона — у моего правого уха. Звук шёл не через динамики наушников, а напрямую,

через воздух, через кожу. Я слышала, как его губы формируют согласные, как язык касается нёба на звуке «д», как выдох разрывается перед словом «мне».

Это было не чтение. Это было дыхание, превращённое в слова.

Моё тело отозвалось раньше, чем голова успела запретить. Спина под свитером вспыхнула — не больно, не приятно, а просто: присутствием. Четырнадцать месяцев кожа молчала, и теперь она кричала от одного голоса в трёх сантиметрах от уха.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.